

**В** Москве я долго пытался пристроить свою первую повесть и несколько рассказов. Не скажу, что они были хороши, но друзьям, Ане и Пете Барановым, нагрянувшим в гости летом на Алтай, понравились. Они решили, что я мог бы стать известным писателем. Никуда я не собирался, но после отъезда Барановых дома повсюду начал находить записочки с одним и тем же посылом: «Славка, пора в Москву!» Это было трогательно и смешно. Бумажки с призывными словами я обнаруживал в сахарнице, в коробке с чаем, под подушкой, между книг, в карманах и рукавах, в носках, последняя нашлась на финише рулона туалетной бумаги. Делать было нечего, я поехал.

Поздняя осень накануне двухтысячных, наверное, мало чем отличалась от сотен предыдущих, но в воздухе витало нечто, возбуждающее воображение. Может, из-за всеобщего ожидания нового отсчета времени либо его конца. На улице Вавилова рядом с Дарвиновским музеем в съемной небольшой квартире, где Барановы выделили мне спальное место на кухне, меньше

чем за месяц я перевел текст рукописи из бумажного формата в цифровой. Что-то подсказывало — известность она в ближайшее время не принесет. Однако я вошел во вкус, а может, так себе внушил, но не писать уже не мог.

— Реальная магия, — откровенничал я с друзьями, — кажется, она во мне давно.

— Надо же, с чего это началось? — спрашивали Барановы.

Аня работала в лаборатории при институте общей генетики, а Петя был психологом. С утра до вечера они пропадали по делам, летали по городу, как пчелки, чтоб удержаться в столичном улье. Виделись мы только по вечерам, по выходным они уезжали к знакомым на природу.

— Помню, первый раз читал Платонова, а у меня аж мурашки по коже, — рассказывал я, ничуть не приукрашивая, — и чувствую, трансформируюсь.

— В кого?! — позевывая, удивлялись Барановы.

— В кого-кого... — тут уж я не знал как ответить. — А может, как вы и хотели, в известного писателя. Писать! Проволочки губительны!

— Твое?

— Нет, Саши Соколова.

Повесть и рассказы я распечатал, скопировал на дискеты, и после неделю долгие прогулки по зимнему городу сопровождались визитами по адресам больших и малых издательств. Нигде сразу не отказывали и спрашивали: «А есть ли у вас в столе еще повести или роман?» Но у меня более ничего не было, и в редакциях только разводили руками, мол, наберите портфель побольше и тогда приходите.

Через месяц, уже в новом тысячелетии, я решил отложить походы в редакции до лучших времен. Да и Барановы перестали верить, что я скоро прославлюсь.

— Мы тут тебе работу подыскали в гончарной мастерской. Может, пока попробуешь себя в этом деле? — предложили они.

— Даже не знаю... Наверное, не в этот раз. Скучаю по родным местам.

Я освободил кухню, понимая, что занимать ее уже неприлично. До весны я жил в Барнауле по съемным квартирам, у знакомых,

у родственников. А в апреле уехал в Уймонскую долину на строительство турбазы у слияния Катунь и Коксы. Шабашки находили меня сами, словно зыбкая удача бичкомбера. И я старался не иметь на будущее наполеоновских планов, никакого покорения мира, так — лишь бы было где перекантоваться да заработать на новые ботинки и штаны. Жизнь воспринималась, как дорога, которая видна до ближайшего поворота. Время в горах пролетело быстро, и в ноябре по окончании всех летних забот соседи, новые приятели и коллеги начали впадать в запой. Погода и настроение только тому способствовали. Спасая заработок, я уехал и оттуда. И вскоре снова был готов на что угодно. Меня никто не увещевал, как мистер Крейцнер своего сына, в том, что у него нет другой причины, кроме склонности к бродяжничеству, покидать отчий дом, где легко выйти в люди и жить в довольствии.

Через знакомых я устроился на работу к алтайским староверам, жившим на Рогожке и державшим медовую лавку на ВДНХ. Торговать алтайским медом, бальзамами и травами — дело не хитрое. Главное — с кем и где. О староверах я помнил немного, как все. Начались их скитания после раскола церкви при Никоне, и поныне они налагают крест двумя перстами. Еще я знал, что протопоп Аввакум был одним из первых известных русских писателей. А так как учился на филолога, то в сознании зацепилась одна его фраза: «Аз же от изгнания переселихся во ино место».

— Что знаешь о меде? — спросил меня старшой среди староверов, нарядный мужик с бородой, как у Робинзона Крузо, когда я в конце зимы заявился на Рогожку.

— Как говорили Магомет, римский ученый Варон и русский пчеловод Прокопович, ешьте мед и выздоровеете, — отчеканил я готовый ответ.

— Молодец! Проходи, будешь с нами жить. А живем мы здесь тихо, по-божески. У нас тут за оградой сам митрополит Олимпий. Лишнего себе не позволяем.

— И кладбище, значит, здесь тоже старообрядческое?

— Да. Склеп там большой, Морозовых.

— Видел. А рядом с кладбищем здание старое без крыши. Давно стоит?

— Давно, еще с той поры, когда наполеоновские солдаты грабили Таганку и Рогожку. Они здесь в Покровском соборе сделали конюшни. При пожаре в том месте крыша обвалилась, так и стоит. А рядом в Христорожественской церкви вообще пивная была.

— Нехорошо, — покачал я головой, однако отмечая, что в горле пересохло.

Остальные продавцы меда смотрели на меня молча и с любопытством. Потом выяснилось, все они, русские, белорусы, молдаване и аварец, как матросы на пиратский корабль, попали кто откуда потрепанные житейскими штормами.

— Куда меня занесло? — жаловался я Барановым, найдя их там же на улице Вавилова. — Я не привык молиться перед завтраком и ужином. Мед в любых количествах это хорошо, но ведь его нужно втягивать с утра до вечера. Нельзя так просто сидеть за прилавком, книгу читать. Надо зазывать: «Алтайские травы, мед, бальзамы! Подходим, пробуем, восхищаемся! Покупаем!» Кха-кха...

Я закашлялся, отставляя чашку с чаем.

— Все просто отлично, мед — символ поэзии, — радовалась Аня, хлопая меня по спине. — Представь, что староверы — это волшебные малютки-медовары. Помнишь, в Старшей Эдде есть чаша поэзии, полная меда богов, его в спешке расплескали, и кому на голову пали капли меда, тот стал поэтом. Тебе еще повезло, что ты торгуешь медом.

— Почему?

— Тут не капли, целая бадья. А тебе всего-то нужно — отдать должное меду поэзии и какое-то время этим позаниматься.

— Чем позаниматься? Медом или поэзией?

— Тем и другим, ешь мед и сочиняй что-нибудь. Толк будет, и здоровье поправишь. Да и в молитвах нет ничего плохого. Так что пойми, ты попал не в самую плохую компанию.

— Ну не знаю, кха... Кстати, чем больше першит в горле после пробника меда, тем мед лучше.

Староверы со своим товаром отправляли продавцов по ярмаркам всего ближнего и дальнего Подмосковья. Перемещаясь каждую неделю на новое место, за лето я побывал почти в каждом ДК по малому Московскому кольцу. Жизнь в Истре или Электростали мало чем отличалась от провинциального го-

рода, где я родился, и мне было комфортно разъезжать по импровизированным базарам из прошлого. Осенью с началом медовой ярмарки в Коломенском поставили меня за прилавок в пару к жене главного бородача. Мария Яковлевна женщина была строгая, но справедливая, к вере относилась серьезно, но было в ее религиозной отстраненности что-то трагичное. Как-то вечером ехали мы, уставшие, зажатые людьми в метро, на Рогожку, путь не близкий, и я вполголоса рассказывал о своих путешествиях.

— Чем-то похож ты на моего Стасика, — вдруг невесело произнесла Мария Яковлевна.

— Какого еще Стасика?

— Известный поэт он был, любил меня очень, и я его любила, — Мария Яковлевна вздохнула. — Только пил он много, бродяжничал. Больше всего не любил работать, как все, официально. Говорил, что дед его, белогвардейский офицер, завещал ему не покидать родину и не работать на государство. Уезжал мой бродяга в тайгу охотился, промышлял. В общем, к осени всегда деньги привозил. Гулял на них. А однажды его избили по пьяному делу. Да так избили, что умирать стал. Долго мой Стасик мучился. А как умер, я в один день и постарела. После еще год в больнице лежала, память отказала, не узнавала никого. Это уж потом я с другим обвенчалась, к старообрядцам обернулась и к Богу пришла.

Она вынула из сумочки маленькую книжку в мягкой обложке и протянула мне. Это был сборник стихов «Я — файтер» ее любимого поэта Станислава Яненко. Я раскрыл наугад.

— Файтер, такой боксерский термин, — объяснила Мария Яковлевна. — Это боксер наступательного боя, он плохо владеет приемами защиты и вынужден держать удар противника.

Мне было интересно: настоящий поэт, как вкусный белый высокогорный мед, большая редкость. Ну это каждый знает. Первые же строчки по-бойцовски устремились вперед, я еле успевал уворачиваться:

Я — файтер. Жизнь меня учила.

Да так учила — в дых и в пах.

Самонадеянность лечила

В прижимах и на шиверах.

Я перелистывал страницу за страницей, понимая, что малютки-медовары и сюда хорошенько плеснули из своей чаши.

Сколько вынес, а понял немного.

Ну а может быть, больше чем кто-то другой.

Есть у всех одиноких спасенье — дорога,

А в тревогах ее — первозданный покой.

Прочитав книгу, я всю ночь думал о том, как бывает печальна земная жизнь поэта, как она все время ищет выхода к своим истокам. Чем больше я об этом думал, тем сильнее одолевало беспокойное чувство, будто я предавал кого-то в себе. После этой ночи мне стало не по себе у староверов.

Рядом со старообрядческим кладбищем был ипподром. По вечерам после ужина, наблюдая за лошадьми, гарцующими на осенних листьях, я засиживался там в компании молодого хулигана, недавно прибывшего из Косихи с партией свежего меда. Вася Морин несерьезно относился к староверам и меня принимал за своего. На ярмарке нам приглянулась одна продавщица, и я стал часто затрагивать тему любви в жизни писателей. Васю это забавляло, и он потешался над моими чувствами.

— Русский человек, как сказал известный писатель Фёдор Достоевский, жалуется на две вещи, на отсутствие денег и на несчастную любовь, — просвещал я Васю.

— Ты поэтому ходишь с таким кислым лицом, и по вечерам что-то постоянно пишешь? Любовные стихи Люське, что ли?

— Да что я, вот наш друг Пушкин... — хотел пошутить я.

— Вот как раз с Пушкиным мне все ясно, — посмеивался Вася. — С тобой нет. Тебе это зачем?

Последнее время у меня было мало внимательных собеседников, не перед кем было раскрываться, и я пользовался случаем:

— Это не любовные стихи. Пишу, Васёк, рассказы. Я очень в литературу верю. Она, понимаешь, для меня волшебная вещь. Уверен, что писатель должен и может видеть в воображении мир, которого еще нет, но обязательно будет. Видеть свет, который идет к нам. Знать про человека даже то, что он про себя не знает. А что, земля, разве не в этом сила литературы?

— Я-то откуда знаю? Я же — известный писатель?

— Ты другое должен знать, — разошелся я. — Именно слово защищает нас от внезапных и вражеских сил нашего прекрасного и яростного мира!

— Да ну тебя. Ты с Люськой так разговаривай, а то ты ей только лыбишься. Мне это не интересно.

— Пусть ты далек от эпистемологии как таковой, и от эпистемологии чулана тем более, — уже нес чушь я, чтоб позлить Васю, — но это не значит, что ты не выходишь за рамки здравого смысла.

Вася скривил недовольную гримасу.

— Как-как? От чего я далек?

— Э-пи-сте-мо-ло-гия, — по слогам повторил я.

— Да иди ты со своей писимологией! — взорвался Вася. — У вас тут в Москве че у всех крыша едет? Если бы брату не обещал здесь держаться, умотал бы уже к себе в Косиху. Мои друзья, Гусь и Квак...

И Вася, тоже ждавший момента выговориться, рассказывал о похождениях со своими дружками-хулиганами, как они куролесили, проказничали и долдонили на родном селе. За эти проказы Васю и отправили на Рогожку, чтобы временно не мозолил глаза осерчавшим односельчанам.

От староверов я вскоре ушел. Когда сообщил главному бородачу, тот посмотрел на меня, словно я был плут, проныра и содомит, почище чем Паисий Лигарид, и лишь спросил:

— Куда ж ты уходишь в зиму? Декабрь на пороге. Где жить будешь?

— Что-нибудь придумается, — пожал я плечами.

Осень засыпало снегом. Я попросился на недельку на знакомую кухню. Петя Баранов посоветовал сделать имя любимым способом и напечататься в коммерческом журнале или альманахе:

— Платишь деньги, тебя печатают и раскручивают до известного писателя. Зайди в дом, где издательство «Молодая гвардия», там на третьем этаже есть нечто подобное.

Я пошел туда. На одном этаже обнаружил целых два коммерческих издательства, «Э. Р. А.» и «Истоки». Выбрал первое. Прочитав принесенный рассказ, Эвелина Борисовна Ракитская, за-

мутившая предприятие «Э.Р. А.», сказала, что за пятьдесят моих баксов напечатает. Заняв у Пети, подкинувшего авантюрную идею, я вкупился.

— Отдашь, как станешь известным писателем, — сказал Петя, нехотя расставаясь с валютой, явно не веря, что она вернется в ближайшие лет десять.

Не раздумывая, я все сделал, как сказали. Подождав неделю, я стал названивать в «Э.Р. А.», пытаюсь выяснить, когда же стану знаменитым. Потом перечитал рассказ и понял — не скоро. Я испугался, что денег уже не вернуть, и поспешил к Эвелине Ракитской домой.

Она долго убеждала не отказываться от идеи печататься в ее альманахе, который скоро разойдется по рукам известных писателей здесь и за рубежом, и мое имя станет на слуху. Я упирал на то, что поиздержался и теперь слишком жирно самому оплачивать свои публикации.

— Буду, как Генри Чинаски, ждать своего мецената, который будет платить по сто баксов в месяц, лишь бы я писал свои рассказы, — шутил я.

Эвелина с распущенными волосами походила на старушкучыганку-гадалку, которая, вцепившись в руку, не отпустит, пока монеты не перекачает из кармана доверчивого проходимца в ее собственный.

— Не забывайте, Слава, что по договору вам, как и другим авторам альманаха, полагается по десять экземпляров, что за пятьдесят долларов вполне нормально.

— Наше барахло за наши же деньги, — упирался я. — Дудки.

— Можете их продавать, отсылать в другие редакции и ...

— И подтираться!

— Что вы говорите, Слава! — возмущалась Эвелина, но руку не выпускала.

Видимо, немного нашлось простофиль, готовых заплатить деньги, чтоб над ними потом еще и смеялись. В тот момент я был непоколебим, мне было все равно, попаду в хрестоматию по литературе или нет.

— Деньги нужны, отдал вам последние, — клянчил я, — мне есть не на что.

Эвелина сунула в мою ладонь деньги и сразу стала выпроваживать.

— Эвелина Борисовна, — уперся я на пороге, — а когда разбогатею, большую книгу напечатаете? Я вас озолочу тогда.

— Идите, Слава, идите, и больше не приходите, — толкала «цыганка». — Зачем мне такая головная боль, сегодня вы решили так, а завтра эдак. Идите и печатайтесь в тех же «Истоках», там быстрее и дешевле. Вот одна женщина отдала им свой текст, так они вместо «юности лоза» напечатали «юности коза». Каково?

— Хм.

— Вот так, вам «хм», а у женщины истерика. Ну вот кто там будет печататься?

— А по-моему, юности коза неплохо звучит...

— Прощайте, Слава, раз неплохо. Идите в «Истоки»!

Вот так началась и замерла моя литературная карьера. Вы спросите: куда подевалась надежда на успешное писательское будущее? Не знаю. Вы бы еще спросили: *ou sont les neiges d'amont?* Куда подевался прошлогодний снег?

Обменяв вернувшиеся доллары, я пошел в «Проект ОГИ» в Потаповском переулке. Нравилась мне тамошняя непринужденная атмосфера. В Москву понаехало немало прежних знакомых, и за столиками клуба можно было увидеть кого-нибудь из них и перекинуться парой слов.

Как и предполагалось, я встретил знакомых и подсел к ним. Земляки пили пиво и трепались ни о чем, играли словами и похохатывали. Подкинув пару фраз, я заскучал и, желая избежать пустого трепа, пошел в читальный зал. В «Проекте ОГИ» имелась комнатка, где продавали чтиво на любой вкус. У полки с книгами Генри Миллера, листовая «Сексус», посмеивались парень и девушка. Я подошел ближе. Парень тянул на мужика в самом расцвете сил, ему явно зашкаливало за тридцать, от него несло перегаром.

— Я прочитал всего Миллера, — хвалился он. — Это мощный писатель. Один из моих любимых.

Девушка-продавщица верила и спрашивала совета что бы для начала почитать.

— Начинай даже не с «Тропика Рака», а с «Черной весны».

Я тоже вставил слово за Миллера, за его текст про Рембо.

— А ваш любимый писатель? — спросила меня девица.

— Виктор Голявкин.

Парень пожал мне руку, мы разговорились.

— Стоматолог, — представился знаток американской литературы, — для друзей просто Дюся.

— Слава Сибаритов. Для друзей просто... Коля! Ха-ха, шутка! — сам себя рассмешил я и перевел разговор. — Стоматолог, я так понимаю, не профессия?

— С детства боюсь дантистов. Я делаю сайты. Сейчас, между прочим, для Кутикова из «Машины времени».

— «Машина времени» меня не цепляет, — признался я, — тем более Кутиков, поет противно.

— Да уж, — деликатно замял тему Стоматолог.

Дюся был навеселе и легок в общении. Он приобнял нас с девицей за плечи и стал рассказывать авантюрную историю о поездке в Париж.

— Началось все с того, что я занял денег у знакомых японок. Они неожиданно разбогатели и не знали куда баксы девать. Я знал на что хочу потратить и поехал в Париж. Там баксы очень быстро кончились, и я поехал в Испанию на заработки. Три месяца я слонялся от Барселоны до Наварры, отработал у половины помещиков вдоль трассы.

Стоматолог наполнил три стопки, девица отказалась.

— И вот, наконец, перевязанный поясом из франков я вернулся в Москву на следующий день после путча, — продолжал Стоматолог. — Кругом неразбериха, баррикады, выстрелы, а я хожу обмотанный валютой и ничего не понимаю. Потом захожу к одному знакомому на Павелецком, чтоб уточнить что происходит, а знакомый в трусах сидит на кухне у пятидесятилитровой фляги спирта. На вопросы не отвечает, глушит спирт и твердит только одно: «Вот, трофейный!» Так я у него и отсиживался, пока у него все не закончилось, и у меня. Выхожу, а там уже новая жизнь. И я как будто никуда не уезжал.

Я слушал Стоматолога и думал, какого лешего мы встречаем столько людей, слушаем их истории, рассказываем свои, а потом остаемся ни с чем. Ну можно, конечно, их запомнить, обдумать, сделать выводы, но только все равно — почему их так много?

Может, потому что это все одна история, и у нее нет конца. И никакой писатель с ней не справится. Ну если только... Хотя нет.

— Мы идем к скульпторам, — заглянул в литературную комнату один из тех ребят, с кем я сидел за пивом. — Ты с нами?

— Мы с вами, — поднялся Стоматолог.

Девушка ехать отказалась.

Собралась большая компания, на футбольную команду с запасными. Люди были между собой незнакомы, как они все сошлись, я не мог понять. Вся команда еле стояла на ногах, будто сошла с корабля на берег неделю назад после кругосветного плавания.

На трех машинах мы приехали в мастерскую скульпторов. Я запомнил только одного сутулого в очках. Где мы и что за мастерская в полумраке сложно было понять, все кругом наполнилось шумом гулянки. Было ощущение, что мы в древних погребках Диониса, он откупорил свои бочки и струи плескались прямо в большой зал с высокими сводами и арками, где мы сидели за длинным столом. Еще не покидало ощущение, что кроме нас здесь кто-то есть. Сквозь дым различались смутные силуэты у стены. Казалось, там шла целая процессия.

Под утро гости разбрелись. Стоматолог, продолжая заботиться обо мне, вывел куда-то за Курский вокзал в старомосковские дворы на квартиру молодой фотохудожницы из «Плэйбоя». Выглядела она презабавно, вылитая Пэппи Длинный Чулок, длинная, нескладная и чудаковатая. Наш измотанный вид ее не шокировал, но она категорично заявила:

— Вас в таком виде с вашими бутылками здесь не оставлю. Отдохните, пока я собираюсь на работу, и вместе выходим.

Это было разумно, особенно для Пэппи. Полчаса мы сидели и делали вид, что нам все нипочем. Хотя я еще прикидывал — вдруг повезет, останусь и женюсь на Пэппи.

— Тебе есть куда идти? — спросил Стоматолог.

— Найду.

— Я тебя провожу.

На свою кухню я вполз к вечеру.

— Это все издержки жизни известного писателя, — объяснил я друзьям.

Через пару дней я пришел в себя и отправился на поиски мастерской скульптора. Там остался отличный складной ножик со штопором и ручкой из красного дерева. Я нашел его в горах, он был дорог как память.

Я кружил по переулкам, смутно вспоминая, что был проходной двор и арка, а внутри арки дверь в стене. Находил одно и то же похожее место и звонил туда, за пару часов я сделал несколько кругов. Волосатый детина, открывавший дверь, сначала смотрел участливо и делал вид, что хочет помочь.

— Где здесь работают ваятели? — спрашивал я.

— Не можешь вспомнить, где веселился, — понимающе кивал парень. — Твоих здесь нет, тут другая контора.

Когда я позвонил в пятый раз, он не стал открывать, а изучал меня в дверной глазок и молчал.

— Где здесь ваятели? — пинал я дверь.

Плюнув в наблюдавший глазок, я пошел еще на один круг. Подустав, сбился с дороги и уже шел, куда ноги ведут. В незнакомом дворе я увидел сутулую спину, она показалась знакомой.

— Игорь, — окликнул я, пытаюсь угадать.

Спина развернулась. Человек в очках с оплывшим от пьянки лицом смотрел с гримасой легкого ужаса.

— Мы недавно были у тебя в мастерской, — неуверенно напомнил я.

— В мастерской, — также неуверенно согласился Игорь.

И тут он вспомнил.

— Как же, старик, помню тебя, — обрадовался Игорь больше, наверное, тому, что память еще не совсем переклинило. — Ты ведь был у меня в мастерской на днях! И еще целая толпа каких-то ребят. Ты еще про Селина что-то классно рассказывал.

— Был, и оставил ножик со штопором, — подтвердил я. — Кружу здесь весь день и не могу найти, где мастерская.

— Она не здесь, а в Армянском переулке. Я зашел сюда отлить. Пойдем, у меня как раз гости.

Гостей было немного, они тихо сидели за коньяком и беседовали об искусстве. Как только мы попали в мастерскую, я увидел у стены вхождение Иисуса в Иерусалим, которое в прошлый раз было смутным видением. Но это было не видение, а внушитель-

ная скульптурная композиция из тринадцати фигур, впереди Иисус на осле.

Что-то случилось в моей душе, я видел только святую процессию. Ученики шли, погруженные в себя, никто не улыбался. О чем они думали? Уж точно не о том, о чем думал я: как и почему нужные образы в нужное время рождаются в художнике, кто за этим стоит.

— Твоя работа? — спросил я Игоря.

— Моя.

Гости разбрелись, а я все стоял и смотрел на работы сутулого скульптора.

— Наш знаменитый боксер Саша Кошкин, — указывая на бюст, говорил Игорь. — А там Борис Николаевич.

— Ельцин? — удивился я.

— Балбес, — хлопнул меня по плечу Игорь, и с грустью и гордостью проговорил: — Греков Борис Николаевич, мой второй отец и учитель. Заслуженный тренер России по боксу. Видел бы ты, как его хоронили.

— Ты извини, старик, я совсем не знаю историю нашего бокса. Недавно вот только узнал кто такой файтер. В детстве я классической борьбой занимался, а потом баскетболом.

— Ничего.

Я хотел поддержать беседу:

— А что стало с Кошкиным?

— Спился Саша... Заходил вот недавно, — Игорь достал журнал. — Смотри, его портрет на международном турнире в Праге.

С фотографии глядел удивительно симпатичный юноша эпохи Возрождения с одухотворенным лицом поэта, никак не боксер.

— Саня рассказывал, как недавно умудрился подрезать сразу четыре машины. И за пять секунд отключить пять человек, которые выскочили из тех машин, — рассказывал Игорь и как бы между прочим спросил: — Ты где живешь, чем занимаешься?

— У друзей на кухне. Пишу рассказы, хочу в литературный институт поступить, — озвучил я идею, прямо в этот момент пришедшую в голову.

— Можешь в мастерской пожить. Будешь вонючий коньяк допивать?

Мы допивали коньяк, каждый думал о своем. Казалось, о чем-то думают бюсты и гипсовые фигуры. Я думал о творчестве, о том, как боксер стал скульптором, поэт назвался файтером, о любви учителя к ученикам. Есть вещи, которые нам понятны сразу же, есть вещи, которых не понимаем, но можем понять. И есть вещи, которых мы не можем понять, как бы ни старались, пока не постигнем их тайную суть. Как писал один самурай, человек, который не понимает тайного и непостижимого, все воспринимает поверхностно. Творчество и любовь таинственны и непостижимы, пока сомневаешься в их непререкаемой власти. Никаких сомнений, если любишь и способен творить! А иначе будет только нелепая толкотня со своими сомнениями, смешная, как поединок между Чарли Чаплином и Ханком Маном в «Огнях большого города».

Я позвонил друзьям и сказал, что кухня в их распоряжении. В мастерской, как в большой келье, было хоть не особо уютно, но спокойно и позитивно. Хотелось засучить рукава и что-нибудь сваять.

Утром я вышел прогуляться по Садовому кольцу в сторону Рогожской слободы. Солнце поймало меня на Школьной улице. Со своими разноцветными двухэтажными домами в лучах света она походила на корзину с пасхальными яйцами. По лицам прохожих чувствовалось, что хоть до весны далеко, настроение весеннее вполне не только у меня. Как собака ультразвуки, я улавливал будущее свободное от мусора и лжи. И если не доползу до него, то если кто-нибудь там просто вспомнит обо мне, я появлюсь. Личный мир исчезнет, растает и почти неуловимо перейдет в другое бытие. А пока мы здесь, нужно согласиться с известным писателем Килгором Траутом, утверждавшим до последнего дня своей жизни, что мы здесь, на земле, для того, чтобы бродить, где хотим, и, не забывая при этом, как следует пернуть. Грубо? Вряд ли. Мы здесь, и правда, для того, чтобы быть свободными от условностей.

Чувствуя, что иду не один, я свернул к Абельмановской заставе, дошел до храма Матроны. От дневного солнца совсем потеплело. Во мне зарождались еще далекие, но радостные образы, шествовавшие со мной, как весенняя процессия в Иерусалим.

Глупо улыбаясь несуществующему здесь миру, не чувствуя усталости, я шел через Крутицкое подворье и Москва-реку по Новоспасскому мосту к Павелецкому вокзалу. И дальше по Крымскому валу вышел к ЦДХ.

Книжная ярмарка «Non/Fiction» работала второй день. Не сбавляя темпа, я проник внутрь. Потолкался среди интеллектуалов, осведомился об интересующих книгах.

— Не издали ли еще чего нового Тадеуша Ружевича? — спросил я у симпатичной женщины у стенда издательства польской литературы. — Очень хочу его почитать.

— Последний раз его печатали в «Иностранной литературе» в конце восьмидесятых, и вот недавно вышло небольшим тиражом двуязычное издание «На поверхности поэмы и внутри», но здесь вы его вряд ли найдете.

Довольный разговором я прошел дальше. И вдруг увидел другого известного писателя, от чтения его текстов у меня тоже порой мурашки пробегали. Юрий Мамлеев отстраненно сидел за письменным столом и раздавал автографы. В зеленых очках он выглядел, как Гудвин из Изумрудного города, очень волшебным образом. Обрадовавшись встрече, я не мог устоять — отдал всю имевшуюся наличность за небольшой сборник рассказов и подошел к известному писателю. Он ко всем бравшим автографы относился отстраненно, смотрел куда-то сквозь стены и лишь спрашивал, занося ручку над книгой:

— Для кого?

— Для Славы, — сказал я, когда подошла моя очередь.

Тут известный писатель вернулся из отстраненного бытия и посмотрел на меня.

— Мы с вами где-то встречались, Слава, — полувопросительно и добродушно произнес Гудвин Мамлеев.

Я точно знал, что мы нигде не встречались, но такой уровень общения был приятен, и я легко поддержал беседу:

— Возможно.

— На каком-нибудь литературном вечере, — предположил Гудвин.

— Да, или еще где, — загадочно покачал головой я, глядя в зеленые очки.

Мамлеев хотел еще что-то сказать, но со всех сторон тянулись руки с книгами, он придвинул к себе мою и размашисто написал: «Дорогому Славе от Юрия!» Вручая экземпляр, он тепло пожал мне руку.

С подписанной книгой меня быстро оттеснили от стола, но я чувствовал, как еще несколько мгновений мой образ держался перед мысленным взором писателя, возможно, он даже успел подумать: «Где же я все-таки видел этого Славу... Наверное, тоже известный писатель...»

Я вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха. Солнце исчезало за домами, стало морозно. Но настроение было по-прежнему, весеннее. Можно и еще прогуляться. Как написал известный писатель — дальше вперед пешком.